

Душегубица

Моя тетя Берта была убийцей.

В юности она забеременела от своего дворянского брата, красавца, умницы и шалопая, и когда он посоветовал ей обратиться к Лежбицкому, известному доктору по дамским кручинам (деньги, кстати, твердо обещал) — подстерегла его с банкой серной кислоты и плеснула в лицо. Он страшно закричал, бросился за ней, упал и умер. Вернее, так: умер и упал — у него было слабое сердце.

Собственно, теткой Берта приходилась не мне, а маме. Так что корректирую временные координаты: дело происходило в начале прошлого века.

Тут важно представить культурное общество и уютную жизнь маленького городка, где разворачивается действие. Почтенное семейство Когановских, мой прадед Пинхус Эльевич и прабабушка Хая... Они не то чтобы очень богаты были, но все ж кондитерскую фабричку держали. Не бог ведь что, работали на предприятии всем семейством, и было кому работать, между прочим: пять дочерей, одна в одну. Не шутка! Девочки *сидели на завороте*, — заворачивали конфеты в фантики: мастерство утомительное, требовательное, все на быстроте пальцев. Virtuозы работали со скоростью конфета в секунду.

— Конфета в секунду?! — недоверчиво спрашивала я бабку.

— Ну, в две, — отвечала та.

Берта была второй по старшинству. Между прочим, она и образование получила неплохое — класса четыре гимназии, кажется. И обладала немалой склонностью к точным наукам — но это так, к слову. А на дореволюционной карточке, что хранилась... господи, ну по-

чему — хранилась? просто валялась в толстом альбоме, кочевала меж картонными листами, оттесняемая к концу, к самому концу... — так вот, на той старой карточке (почему-то в них, в отличие от фотографий позднейшего времени, всегда присутствует душа мгновения, не правда ли? — незримый отпечаток тихого ангела, что пролетает в минуты, когда ты напрягаешь взор и держишь легкую улыбку в губах, ожидая отмашки фотографа: готово, барышня! Что улавливали из эфира эти матовые пластины в считанные секунды — одна... две... три... четыре... — когда клиент сосредоточен, чтобы не мигнуть, держать спину и выровнять бровь?) — на той, повторяю уже утомленно, картонной, с ажурными краями, постановочной карточке Берта, недавняя гимназистка, стоит, опершись на обломок коринфской колонны: за спиной романтические развалины замка в духе Ватто, на кисть намотан ремешок плоской сумочки — блик на ее металлической пряжке своей живостью не дает мне покоя лет уже сорок.

Пухленькая темноглазая девушка, изумительная кожа — это видно даже на картонке

цвета слоновой кости. У нее и в старости были гладкие румяные щечки.

С тех пор как мама под страшным секретом рассказала мне историю этой страсти, я пытливно вглядывалась в девичье лицо на фотографии: пристальные глаза под чуть припухлыми веками, ремешок сумки вокруг изящной кисти, узкий нос туфельки из-под платья... — когда это, когда? До? Или после? До? Или после того, как *умер и упал?*

Итак, мы вернулись к началу. Он умер и упал на крупный булыжник мостовой, шипя лицом...

Растрепанную и обезумевшую от икоты Берту притащили в участок прохожие свидетели, и вплоть до суда, почти до родов, она так сидела в кутузке.

Между тем, убитый (как остывает кровь и гаснет свет в этом глухом и тесно сколоченном слове!), — убитый молодой человек приходился прабабушке Хае родным племянни-

ком! Любимым сыном ее родного брата. Старшим — у брата было еще двое сыновей. И прабабушка Хая — ангел, ангел, нечеловеческой доброты существо! — не в силах снести... да, именно это слово: *снести* страшной тяжести позора и горя, пошла вешаться в сарай за конфетным цехом.

Конфетный цех и сам по себе сараем был, но побольше и светлее. А в том, что выбрала себе для гибели прабабушка Хая, варили патоку в котлах. Из деревянных ящиков там прорастали и заплетались в узоры запахи цукатов, корицы, ванили, сушеных яблок, вишен и слив... лимонной и апельсиновой цедры...

В юности я довольно явственно представляла те несколько мгновений, что она успела повисеть... — по счастью, в сарай ворвались родные и вынули бедную из петли. Мое паскудное воображение, спущенное с цепи еще в раннем детстве, рисовало висящую в густых испарениях патоки старуху (прабабушка Хая тогда старухой вовсе не была), ее лицо в испарениях приторного удушья...

Короче, ее вынули из петли.

И самое поразительное для меня в этой истории то, что оба родных брата погибшего явились в суд свидетельствовать против него!..

Кажется, я могла бы написать рассказ о том, как эти два мальчика провели ночь перед судом. Старший брат, их кумир, гордость семьи, лежал в могиле, а они должны были публично предать его память, выгораживая злодейку, убийцу, гадину. И они это сделали! — так эти мальчики любили и жалели свою тетю Хаю. Каждый поднялся и произнес роковые слова обличения: да, брат был легкомысленным обманщиком, совратителем невинной девицы... И далее, что полагается...

На скамью подсудимых не глядели, только на прабабушку Хаю, сидевшую в углу, в черной шляпке, под густой вуалью.

Ну, а теперь скажите мне: где тот Шекспир и кому он нужен?

Свидетельства братьев произвели на присяжных такое впечатление, что Берту оправдали.

Хотя потом, когда изредка она приезжала

в Золотоношу навестить родителей (а после родов Берта с младенцем тотчас были сплавлены к дальним родственникам в Полтаву), оба этих брата не только не показывались в теткинском доме, но и покидали город на то время, что проклятая убийца отравляла воздух своим дыханием.

Дальше... дальше семейные воспоминания по линии Берты как-то теряют четкость, расплываются, вихрятся в потоках революции и всего того, что за ней последовало, — например, экспроприация кондитерской фабрики, которая все равно без Берты приходила в упадок: да-да, единственная из всех сестер, она не сидела *в заворотчицах*, а вела бухгалтерию, все расчеты держа в голове — что кому из заказчиков стужено, от кого получено и кто задолжал. В светлейшей голове под легкомысленными кудряшками с легкостью проворачивались все финансовые операции; горы конфет — блескучие, пестрые, золоченые центнеры конфет пересыпались, шевелились, струились в этой голове...

Но я отвлеклась.

Всем уже было не до Берты. Из прерывистой и остатней памяти семьи мне удалось выколотить, что мальчик ее, дитя страсти и преступления, прожил недолго: в три годика он умер от тифа, хотя Берта берегла его пуще собственных глаз (и уж гораздо пуще глаз его покойного отца), для чего даже устроилась уборщицей в детский дом, куда и определила ребенка, чтобы находиться все время рядом.

Однако не уберегла.

Все остальные дочери, *заворотчицы* (о, фамильная сноровка в пальцах, о ней — позже) Катя, Рахиль, Вера и Маня, разъехались из Золотоноши кто куда, сменив место жительства и заодно уж отчество; новое время потребовало некоторой смены фасада, и почтенный прадед Пинхус слегка преобразился: Рахиль и Вера переделали его в Петра, Берта и Маня нарекли отца Павлом (тем самым придав и без того библейскому его облику нечто апостольское). Что же касается старшей, Кати, — та вообще почему-то стала Афанасьевной.

Глубоким стариком перед самой войной прадед пустился в долгое и обширное по геогра-

фии путешествие — он навестил всех дочерей. Вернувшись домой, сказал прабабушке Хае:

— Хорошо, что у меня нет шестой дочери. А то на старости лет я превратился бы в Ивана.

Но — Берта.

Как жаль, что желание различить свои черты в предыдущих коленах родни приходит в том возрасте, когда валы времени уносят неумолимо щепки человеческих жизней. Не нарочно ли это задумано для того, чтобы каждая новая жизнь прокатывала и прокатывала заново считанные сюжеты судеб; молодость с ее животной жаждой сиюминутной жизни, молодость, отмечающая все, что было до — вот наилучшая плотина между потоком времени и озером человеческой памяти.

Берту я помню кругленькой румяной старушкой, утомительно четко произносящей вставными челюстями идиотские партийные лозунги. Да она и сама была «партийной» (так и произносила это слово), годов с тридцатых. Светлейшая голова идеально совместила счетное дело с государственной идеологией.

В период великого голода на Украине Берта устроилась работать в хлебный магазин и, благодаря феноменальной своей памяти, очередь отпускала с невероятной скоростью: предъявления карточек не требовала, держала в голове — кому сколько положено.

Так вот, где бы она ни жила, в первую голову шла становиться «на партийный учет». Исправно платила взносы и посещала партсобрания.

Словом, жила она и жила в этой неразличимой и тоскливой для меня сердцевине прошлого века в... Мариуполе. Отнесло ее течением от всей семьи и бросало в разные стороны.

И вот тут надо бы ухватить ниточку параллельного сюжета и тихонько так, осторожно, чтобы не порвать, подтянуть ее, связав с главной, хоть и прерывистой нитью повествования. Но для этого нужно вернуться в тот день, когда фотограф говорит юной Берте: «Момент, барышня!» — и ныряет под бархатную попону старого деревянного ящика на треноге, и кол-

дует там, во тьме, над матовым стеклом, компонуется кадр и наводит резкость. А за спиной юной девы — развалины романтического замка, и сумочка на руке, и нога в остроносой туфельке победоносно утвердилась на кудрявой капители.

В эти самые минуты с улицы через витрину ателье на Берту смотрит ученик реального училища Мишенька Лещинский, смотрит безнадежно и влюбленно. Он даже урок пропустил, таскаясь за Бертой по городу: а вдруг хоть на минуточку в его сторону глянет карамельно-шоколадная дочка Пинхуса Когановского! Да только где он и где она, и кто он такой, единственный сын шляпницы Розы?

Старше его на два года, Берта просто ослепительна: кожа гладкая, брови шелковые, золотистые, румянец акварельный... (В детстве старшие девочки ловили ее и послушавленным платком терли щеки — убедиться, не румянит ли, паршивка?)

А когда стряслось это с нею... как сидел он в зале суда, с колотящимся сердцем, не отлучаясь на перерывы! Как смотрел на нее во все глаза! И больно, и страшно — человека ведь убила,

родная, родная моя! Представлял: это он, это с ним... Это жизнь так отдал...

И внутри все закатывалось и обмирало...

Загибался Мишенька от любви, ходил затуманенный и очумелый, в училище остался на второй год, так что мать хлестала его по лицу чьей-то шляпкой, что под руку попала, и называла несчастьем, идиотом и гойским бездельником...

Ну, а далее декорации меняются кардинальным образом: Советская власть, что открыла широкую дорогу беднейшим слоям и так далее, оказалась для Миши Лещинского просто тетей родной. Его судьба сложилась на редкость уютно: он благополучно закончил какой-то технический вуз и, грянув оземь, оборотился завидным женихом. Хорошее жалованье, видный мужчина. Спец.

На фотографии, где они с Бертой смотрят в объектив с деловитой готовностью подняться и ехать немедленно туда, куда пошлет судьба, Миша Лещинский — мой любимый дядя Миша — очень похож на великого артиста Чарльза

Спенсера Чаплина. Ростом тоже был невелик, косая волна кудрей надо лбом, глаза навывкате, усы — жесткой щеткой, скорее эйнштейновские...

Самой большой привязанностью его жизни была я. В смысле — именно я.

Но я как-то все время сбиваюсь в сторону.

Так вот, куда бы ни занесла ее одиночья злая доля, Берта нигде не теряла великолепной цепкости к обустройству быта. Ее светлейшая голова всегда просчитывала наперед возможные варианты и всегда разрабатывала самый плодотворный.

В очередной проезд к родителям Берта столкнулась с бывшим своим жалким воздыхателем, сморчком и тютей, преображенным до неузнаваемости. Он в эти годы жил в Днепропетровске, работал инженером где-то на производстве, но, как и Берта, приезжал в Золотоношу навестить мать. Та по-прежнему сидела в шляпной мастерской — в провинциях дам стало меньше, шляпки пошли на убыль, но вовсе не перевелись. Старуха потихоньку про-

Содержание

Цыганка	5
Душегубица	37
Адам и Мирьям	82
Дед и Лайма	137
Ральф и Шура	155
Туман	161